

84(2-411.2)6-4

М69

СА-404411

Светлана Михеева

16+

Роза, играй!



ПЕРЕПЛЁТ

Светлана Михеева

Роза, играй!



Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

Иркутск
Издательская серия «Переплёт»
2020

СА-404411

Лето в городе

Вспомните: когда вам десять-двенадцать, и лето на ваших глазах сереет день ото дня. Как оно пустеет. Как нечем занять себя. Как жидкий шалаш в пыльной и замусоренной городской роще кажется единственным пристанищем в неприкаянной и словно бы навязанной жизни, которая сосредоточилась в единственном вопросе — зачем я? Как земля замирает, словно бы не родит ничего. Кажется, в студень превращается воздух, и проходит день — ах, быстрее бы он прошёл! Больно обостряется детское одиночество, одиночество взросления: подгоняешь к концу каждый удивительный, неповторимый день. Быстрее — к осени, к естественному разрешению, к спасению. Над миром висит неосязаемое великое — дух, парящий над водами. А ты — маленький и неуверенный, разрываешься между водами и духом, между тем, кто ты есть, и кем будешь. Ты ещё нисколько не знаешь себя. Это приводит в отчаяние.

В городе, между водами и духом, где ты застрял, всё дымит и парит — трубы, машины, асфальт. Здания таращатся на происходящее заплывшими, зашторенными зенками. Люди возникают и плавно перемещаются, словно плоские фигурки в книжках-раскладушках, плавность их объясняется только тем, что они — не настоящие. Но ты-то настоящий! И только жидкие деревья протягивают к тебе, настоящему, пусть и небольшому человеку паучьи лапки — чтобы приласкать. Как в таких обстоятельствах не подгонять день?

Хотя никакого движения всё равно не происходит. Воздух густ и день завяз в нём. И он может длиться и длиться,

одиноким, скучным день. И разрастается тоска, такая, что даже плакать не могли — такая тоска, что измощает в тебе здоровую детскую плаксивость. Закрадывается чёрное подзоровение: вдруг эта безрадостность, знойная изводящая бессолнечность, шумная городская тоска пребудет вечно?

Но вот наконец кузнечики вечерней трескотнёй оживляют мир. Ночь является и прекращает невыносимую пытку. Потом ночь не спит, она слушает всех спящих и неспящих. Картонные взрослые укладываются в свои картонные кроватки, ворочаются — сон, о котором они мечтают, нейдёт. Детям трудно даже подумать о сне в такое таинственное время, не хочется упустить самое интересное. Ночь разворачивает пёструю картину вокруг, отмыкает времена. И расцветает мир: где-то в саванне не спят львы, по великим рекам сплавляются отважные воины, прекрасная Европа Возрождения прячет в каменных желобах улиц трогательных влюблённых. Ночь не для того, чтобы спать! И дети сладко засыпают.

...Много позже, в расцвете лет, когда ты бодр, целеустремлён и уже знаешь назначение вещей, побороть летнюю скуку проще — всё разноцветно, карнавал окружает тебя: отпускные настроения, совершенная белиберда. Всё легко, ни к чему не обязывает, одни призраки, подобию вокруг. Спасительные подобию — и ты рад принимать их за действительность, опыт приходит на помощь. От горячего асфальта спасаешься на работе. И когда улетают дни, коллеги вздыхают: лета будто и не было, подразумевая, что оно, конечно, было. Они вздыхают об утекающей сквозь пальцы (сквозь ручки, карандаши, телефонные книжки, ежедневники) жизни, которой на одно — прошедшее — лето стало меньше. А что они смогли? А что они смогли бы смочь — если бы, конечно, знали, что нужно делать? Этот

вопрос мучает, не даёт спать, посылает зловещие полусны или болезненную дрёму, в которой фантомы сознания играют в свои безжалостные игры.

Ночь наваливается на взрослых, она им ненавистна, потому что бессонна. Шумят сверчки, их трескотня мешается с редкими всхрапами автомобилей... Две таблетки... так... Мерзкая тёплая вода из крана... ладно... Три глотка, больше не могу... Да что там за окном, целая армия кузнечиков, которые хотят уморить меня?! Включить, что ли, лампу... Под утро, как в бездну, человек проваливается в сон.

Начало следующего дня — спасение. Взрослый возвращается к ежедневным обязанностям, чья цепочка «встал-умылся-пришёл на работу...» счастливо соотносится с общими условностями социальной биографии: «родился-учился-женился-умер». И у всех — одинаково. И в одинаковости этой есть одновременно и боль, и облегчение: вопрос о собственном исключительном предназначении ласково успокоен монотонностью быта, сглажен, поставлен в слабую позицию перед фактом выживания в конкурентной среде.

Но прежде, годы назад, утренний мир раскрывался для каждого неожиданным возвращением, воскрешением. Где я был, когда я был там, на той стороне сна? Живущие не по обязанности, а по любви дети, как бабочки, осознают время в размере дня. И всё вокруг них, творимое ими живёт так же, осознавая смерть коротко. Считается, что они не способны дать ей исчерпывающего определения, ощутить крайнюю границу существования. Но они — ближе всего к ней, поскольку недавно пришли оттуда. Они до поры не способны лишь осознать мучений, которые в мире взрослых непременно сопутствуют смерти. Со временем кош-

мары прошлых поколений настигают. Материализуется старуха с косой, которая однажды явится по каждую душу.

Но пока они ещё малы, пока ещё та сторона сна для них — неоспоримая реальность, трансформация сама по себе и естественна и желанна. Они просыпаются по утрам с ожиданием счастливых снов и наяву, просыпаются с радостью открытия. И неважно, каким окажется день. Детский бунт никогда не касается устройства бытия и божьего промысла. Детский бунт созревает в подростке, лишь когда растворяется ясность детского мира, память о прежнем, о той стороне сна и жизни. Он порхает в новой пустоте, отыскивая опору, прощаясь со своей детской памятью. Она покидает его, оставляя наедине с самим собой — потерянным во времени незнакомцем, бредущим по городу, пустота которого абсолютна.

Но в пять, в отличие от пятнадцати, ещё легко преодолевать лето, которое, по существу, и само похоже на детство — неприкаянное, безответное. В душе образуется глубина такой огромности, что любое слово проваливается в неё безвозвратно, любое действие — качание канатоходца на канате. Значение имеют только светила, сменяющие друг друга, растительное, животное — факты миропорядка, о которых принято думать, что они никак не зависят от человека.

«Я» бессознательно подчиняется явлениям природы. Её превращения настораживают, и в них есть тайна, которая, мелькнув и не давшись в руки, делает нас своей частью — частью природного шума, веткой, травой.

Иногда возле оранжевой стены панельной пятиэтажки, торцовой, без единого окна, обшарпанной до невозмож-

ности, я, пятилетняя, замирала. Там, где стена смыкалась с фундаментом, из этого стыка, из неровного шва лезли травы, зелёные выводки клёнов, или колыхались над ним жёлтые и белые одуванчики. Внутри, под углом, образованным отмошкой и стеной, я предполагала наличие смежного мира, откуда пробивается к нам жизнь. Когда соседка привезла домой младенца, другие соседки, старые и не очень, обсевшие приподъездную лавочку, всякий раз кудахтали вокруг его колясочки. Было удивительно, что они так кудахчут, словно это какое-то чудо, непонятно откуда взявшееся. Совершенно очевидно, он взялся из угла. Длинные, поросшие травой демаркационные линии — смычки стен с фундаментом или землёй — всех домов в округе были исследованы на предмет нахождения там достаточно большой трещины, способной впустить младенца «с той стороны». «Та сторона» не имела пределов и представлялась свободной территорией, где плавают вещи и существа — зародыши вещей и существ. Однажды неизвестная сила выталкивает их к нам.

Лето всегда было границей, способной «вызволить из угла», воспроизвести. Поэтому летом так трудно делать что-то. Не от жары и лени — хочется просто дышать одновременно со всем, дышать в ритм, дышать, как брать эстафету — от дерева, птички, от дождя и любого колыхания.

...Теперь «просто дышать» кажется пустой тратой времени и воздуха. Как жаль. А что если дышать — это самое важное дело?



* * *

Давным-давно, в самые юные лета, родня избавлялась от меня на июль или же август (июнь в Сибири ещё прохладен), ссылая в детсадовский лагерь для сопливой малышни. И это был такой густой мир, где сосуществовали и вещи и чувства, и явное и тайное, и будущее и прошлое — сосуществовали, взаимопроникая, изменяя действительность и лишая людей — взрослых властолюбивых людей — права распоряжаться окружающим. И нами, детьми.

Дети пребывали в нескончаемой тревоге ожидания. Ею они питали мир странных сосуществований, искали чуда — и находили. Днём — в бассейнах, в сараях, на ближайших болотах с крупными кочками — казалось, прыгаешь с одной зелёной головы на другую. Ночью — абсолютно во всём. В темноте, в холодных мёртвых печах-голландках с остатками пёстрых «буржуйских» изразцов, в широких окнах, приоткрытых на луну, в скрипе половиц и кроватных сеток. Старый корпус — остатки незапамятных времён и стекольной фабрики — стоял между скрипучих сосен высотой до неба. Ночью сосны бредили старыми временами, шушукались. Из небольшой заболоченной заводи им отвечали маленькие лягушки. Можно было вмешаться в беседу, сбежав из кровати, сдвинув засов с тяжёлой двери. Уже с крыльца увидеть поблескивание воды, сияющую под луной беседку и, с одной стороны, строгий высокий забор с железной пастью ворот. А что за забором — лучше и не думать, сердце лопнет от восторга! — там может быть всё что угодно. Смотреть на забор всегда было особенно интересно — и страшно.

Вдобавок на высокой и широкой веранде неровными боками колебало ночной свет удивительное стекло: обыч-

но после полдника, когда лес только начинал темнеть, дети, предоставленные сами себе, находили в почве, часто под сосновыми выпирающими корнями, слитки и слиточки голубого, зелёного или коричневого цвета. Кто закопал их в норы под корнями деревьев? На этот главный вопрос никто так и не смог найти ответа. Дети искали стекло, как гномы ищут драгоценные камни, приносили на веранду. Воспитатели, чувствительные к предметам неясного назначения, заполнявшим наши карманы, пространство под подушками и подоконники корпусов, стекла не трогали. Похоже, в слитках затаилась некая влиятельная сила, действующая даже и на взрослых. Или, скорее, в нас, детях, дремала волшебная сила, сообщающаяся всему окружающему. Та самая сила, появления которой мы, пятилетние глупыши, ждали из-за забора.

Сейчас там, где гномы откапывали свои слитки после приторного пятичасового чая, уже нет ничего. Ничего того. Сосны стали как будто меньше, корни у них теперь не такие уж мощные и запутанные. Железные ворота, ведущие в страну чудес, всегда открыты, их стерегут облезлые ленивые дворняги. Всё стало маленьким и приобрело обычный серый летний цвет...

Но я потеряла дорогу в эту волшебную страну гномов гораздо раньше, лет в семь. Когда родители снялись с места и мы покинули родной город. На старом месте осталась родня. На новом, за много тысяч километров от гномичьих летних шахт, была новая работа отчима, новая квартира в только что отстроенном доме нового района с шумными пахучими стройками, гречишными и кукурузными полями вокруг. Поля подходили почти вплотную к новенькой школе, провонявшей гудроном и краской. За ними — дубовые рощи и широкая мутная Волга.

Неусидчивая школьная малышня пробегала уроки и к полудню вырывалась на свободу, где её уже поджидал ветер или дождь, или снег, или просто любвеобильное солнце. Мы существовали согласно природе и шли у неё на поводу. Осенью она заманивала нас в кукурузные заросли и предлагала молочные сладкие початки. Их мы воровали ранцами, выгружая учебники в сумки со сменной обувью. В мае она заманивала нас под свои прекрасные дубы. Алчные стайки охотников за майскими жуками опустошали местность. По легенде, за крылья насекомых в аптеках платили кучу денег. Мы без счёту калечили жуков — но крылышки терялись, разлетались, даже маленькая майонезная баночка никак не набиралась. Баночки потом долго стояли на подоконниках, пока матерям не надоедало их молчаливое и укоряющее присутствие.

Наконец малолетних горожан настигало настоящее лето. Детей становилось во дворах всё меньше, будто подкосила их неизвестная эпидемия, или они испарились, или их выкрали. Улицы нового района покрывались жёлтым зноем, девятиэтажки торчали в нём, как пирамиды в песках пустыни. Природа в эти дни была занята сама собой, воспитывала кукурузу и гречиху, поощряла к росту непокорную дикую траву. Редкие мы, забытые и природой и родителями (не надо было проверять наши тетради, поднимать поутру в школу), бродили по дворам в поисках других детей, жевали чёрный жёсткий вар, украденный со строек.

Невыразимая скука школьных площадок обрушивалась на нас. Сонные учительницы пытались покрикивать, укладывая ребятню в тихий час на раскладушках посреди синевы спортзала. Это была вечная дремота — дремали пионеры-герои на доске почёта, дремал белый гипсовый Ленин

в вестибюле, дремали котлеты на тарелках, дремали вечером усталые родители. Помимо дремы не было ничего.

Потом жизнь налаживалась — заканчивалось время площадок, начинались пионерлагеря. Родители не знали, что делать со мной летом. Вместе нам было скучно. В лагере автобусами свозили таких же, как я, посторонних друг другу детей. Думаю, мы осознавали своё взросление именно летом, растрачивая весь остальной год на получение школьных знаний и прочие пустяки. Летом мы оставались наедине с самими собой, своим детством и с набирающей цвет природой — вынужденные осознавать и природу вокруг и свою собственную. Мы были расцветающим открытием для себя самих.

Посторонние друг другу, мы ходили парочками или по одному. Могли сбиться в банду и ограбить сад в ближайшей деревне. Те, что поскромнее, вели себя тише, рисовали в библиотеке или кидали мяч. Но за обедом все собирались в столовой и смотрели в пространство одинаковыми задумчивыми глазами. Казалось, что нас свалили в кучу, как на фабрике валят в кучу бракованных плюшевых зайцев. И чужие взрослые ищут, чем бы убить наше летнее время. А мы ищем, чем бы наполнить наши души.

Но всё же и в этой тоскливой реальности было нечто, возвышающее нас на одну значительную ступень: знакомство. Хорошее развлечение — подойти и сказать: «Как тебя зовут? Меня зовут Роза». Но это было и моментом истины: ты называл себя для кого-то, одновременно осознавая себя для себя, давая себе пусть формальное, но определение.

Тех, кто постарше, чьи чаяния уже перешагнули порог детской комнаты, обнаруживали вдруг новые способы

взаимодействия с миром, вроде наивной влюбленности, которая не требовала ответа, но требовала выхода. Как-то летом родители приехали раньше, задолго до конца сезона, чтобы забрать меня. Мы снова меняли место и возвращались в Сибирь. Один мальчик рыдал о моем отъезде навсегда. Дети сгрудились у лавочки, где он плакал. Я стояла поодаль, у машины, синей и блестящей, похожей на рыбу. Из дачного корпуса мама несла вещи. В прямоугольную мелкую чашу бассейна сторож пустил воду — после полдника обещали купание. Вода шлёпалась в полупустую чашу некрасиво, но громко и задорно. Я засмеялась — от чужой неожиданной привязанности, от чистоты небес и в честь грядущей дороги.

От среднерусской густой природы, от дубов, от роскошных берёз с повисшими, как зелёные щупальца, ветвями мы перебрались тогда в сумрачное хвойное царство с ягодниками на болотах, с длинными безлесными равнинами и обветренными гольцами на высоте. Дом с глухой оранжевой стеной по-прежнему торчал у дороги. Боярышник у нашего подъезда разросся, маячил мягкой спелой краснотой крупных ягод. Они, по легенде, вызрели на спинах мертвецов — когда-то здесь ютилось тихое кладбище лютеранского прихода.

Семейные вещи доставили вскоре огромными контейнерами в наш старый новый город. Пока в квартире, подготовленной для нас, клеили обои и подтягивали окна, меня настигло моё последнее детское лето.

* * *

В то лето, когда мы вернулись в знакомые места, я впервые внимательно обратилась к здешнему: лёгкие — к ве-

тру, руки — к траве и камням, горло — к ночным звукам. Всё, что представлялось фантазмагорией, нагромождением образов и ощущений, теперь имело отчётливую резкость — каждый предмет, каждая минута. Оно, это каждое «всё», было совершенно иным, чем в «прошлом» городе. География аккуратно подсовывала мне на опознание давно забытые ощущения — другого места под тем же солнцем.

— Что ты, девочка, погрустнела, призадумалась? Летом розы цветут, — каламбурил двоюродный дед, добрый Иван Сергеич, старый фотограф на пенсии. Соседи обзывали его чокнутым, потому что он без конца фотографировал птиц, желал лететь на воздушном шаре или фиксировал на плёнку движение небес. Ему тоже было скучно и тревожно летом. Но его сестра, моя родная бабка, вывезла и его, и меня из города в дачный посёлок у маленькой шустрой реки, которой вечерами владел густой туман. Днём на жарком горизонте дрожали седые головы задумчивых гор.

Бабушка всё время занимала брата в саду то сбором ма-лины, то расщеплением толстых чурбачков, то мягкой травой мокрицей, окутавшей своей зелёной бородой вход в погреб. Мокрица была очень непрочной травой, легко вы-таскивалась из земли, цвела мелкими звёздочками — но вывести её из сада насовсем не было никакой возможно-сти. И дед дергал её, усмехаясь в клочковатую бородёнку. Чему уж он там усмехался? Может, семейственности, ко-торая обуревала всех летом, наваливалась на разрознен-ные части нашей ячейки общества (части соединялись обычно за общим столом по случаю большого юбилея или чьей-нибудь смерти). А может, он усмехался вслед своей сестре, которая, чувствуя старческую ребячливость деда, присматривала за ним, держала в посильном трудовом то-нуса — иначе дед хирел или перегревался на солнце, бегая

с фотоаппаратом за голубями на площади возле деревенского магазинчика, на смех местным. Или же он усмехался зловредной траве мокрице, которая так упорно цеплялась за тенистое своё местечко возле погребка... Или мне, которая уныло размазывала прутиком грязь у калитки и тревожилась так же, как и он сам. Дачное время было не то чтобы счастливым или особо занимательным. Оно просто было иным, обнажая возможности для изменений: в мире ещё могло вдруг появиться чудо, хотя я и подросла. Метаморфозы, которых я ожидала, готовились также внутри бутонов на яблоне (она никогда не давала настоящих больших яблок, как волжские сады, и от этого чудо обещало быть ещё больше, ещё значимей). Или созревали за калиткой очень рано утром: повсюду лежала волшебная крупная роса, напоминая то прозрачную ягоду, то глаза травы.

Чудо ожидалось и в самом доме — небольшом и светлом, не дачном, а скорее деревенском, с плотно пригнанными досками пола в трёх комнатах. Там, где спала я — в жёлтом квадратном помещении, на раскладушке, возле большой родительской кровати, имелись два необычных места. Во-первых, в углу маленькой кладовки, куда едва входила пара стульев. Во-вторых, наверху, под антресолями над входной дверью. Над дверью проживал в рыбацкой сети дракон, который если и пугал меня по ночам, то только из добродушной шутливости. В углу кладовой таилась маленькая, почти мышиная дверь, о которой никто кроме меня не знал. Дверь приоткрывалась в другой мир, куда я могла проникнуть, но который не могла расширить: мир ограничивался пределами незнакомой комнаты, полной игрушек, куда я и спускалась по высоким ступенькам. Позже игрушки исчезли, но появилась терраса с видом на воду и на синие сосны, непричёсанными лапами касающиеся её идеально белых колонн. Я допускалась в комнату гостем,

который осознаёт свой статус, чужаком с ущемлением в правах. Дальше за комнатой, за террасой простирался таинственный мир, его тропинки, дороги, города, поля и леса. Где-то была лестница, ведущая с террасы вниз, к одной из его бесконечных дорог. Но она ни разу мне не открылась.

...Потом детство совсем кончилось — и комната потерялась. В одно прекрасное лето я не смогла найти мышиную дверь. И на следующее лето тоже не смогла, и больше — никогда. Хотя искала упорно, вываливая вещи с полок, простукивая стены. Уставая, не веря ещё в неудачу, садилась на один из стульев, стоящих в кладовке, и так сидела подолгу, раздумывая о террасе с синими соснами и о том мире. Интересно было сидеть в кладовке ночью, когда родители оставались в городе, а бабушка и дед Иван Сергеевич спали в своих комнатах. От темноты вокруг мысли ныряли глубже, плыли аккуратней. В кладовой шуршало, что-то скреблось и стучало. Я подозревала, что это звуки оттуда, из моего потерянного мира, который, может быть, тоже меня потерял и пытается найти. Тёмно-синий дракон сопел над антресолями, покачиваясь в своей сети. Он задержался на некоторое время, но тоже в конце концов оставил свой угол, испарившись, истаяв, распространив после себя лишь призрачное поблескивание.

...На том стуле, что стоял в кладовой, сейчас сидит мой сын.

— Там вдали, кажется, звезда видна? — это говорит сын. Он отходит к окну и вглядывается. Звезда моргает, как одинокий глаз. И мальчик спрашивает, бесконечен ли космос. И рассказывает, как представляет себе предел: идёшь, всё белое — и не кончается, страшно. Он не боится темноты и засыпает один в тёмной комнате...

* * *

Потом начались дожди. Те, которые я знала раньше, были не такие, то были детские дожди. А теперь начались взрослые.

Прежде дожди оживляли август. В пыльном мире новых микрорайонов вдоль Волги в далеком городе моего детства Бог сидел на огромных серых облаках и выжимал на гречишные поля вокруг свои мокрые платки. «Боженька плачет», — сказал мне однажды маленький боязливый мальчик во дворе. Так объяснила ему ласковая бабушка. От неё всегда пахло старым и глубоким, мы специально садились на скамейку рядом с ней и вдыхали эту глубину. Бабушка грелась на солнце, очень сухая, птичьи косточки. Она могла смотреть на тебя не мигая очень долго. Она была для нас существом потусторонним, почти духом. Иногда бабушка закрывала глаза. Тогда начинался ветер. Она не открывала глаз. Начинался дождь. Она не шевелилась. И мы тыкали боязливого мальчика, заставляли его пошевелить бабушку, а то вдруг она умерла. Мальчик шевелил. Та медленно открывала тяжёлые набрякшие веки, поводила плечами и радостно улыбалась. Казалось, она сама радуется, что ещё не умерла. С каждым годом она становилась всё меньше и меньше, как будто усыхала.

Вера в плачущего боженьку закрепилась и росла в этом дворе вместе с нами. Мы не умели отстраниться и были отзывчивы. Навстречу трепетали серебряные пирамидальные тополя. Очарованные то ли бабушкой, исчезающей на наших глазах, то ли невидимым плаксивым боженькой, мы уходили на пустырь, окружённый деревьями, где молча таращились на мир из деревянной беседки или равнодушно

поедали чёрные ягоды, созревшие вокруг на кустах и в траве. Нас ловили за этим. Однажды боязливого мальчика испуганный не на шутку отец даже оттащил за ухо прина-родно, обещая ему не только рвоту чёрными ягодами, но и скорую смерть в страшных муках. Мальчик в ответ вы-то ли от страха, то ли от обиды. Остальные, насупившись, молчали. Как раз собирался дождь, и наши хмурые лица соответствовали кислой погоде. Наконец закапало, дожде-вая вода перемешалась на лице наказанного мальчика со слезами и грязью. Он стал похож на маленького мокрого чертёнка, которого выгнали из преисподней. Его отец вел-лел нам идти в беседку, переждать ливень или же бежать по домам. Но тут мокрая прохожая тётка налетела на нас: «Успокойте же его кто-нибудь!».

— Боженьку? — спросила Ольга, девочка, у которой имелась большая, на зависть нам, собака. Ольга задрала голову и смотрела на серые тучи, на которых (или за ко-торыми), по нашим детским представлениям, сидел Бог. У Ольки ещё была тайная цепочка с крестиком, я её видела. Так что она точно знала, где высматривать боженьку. Все остальные вслед за Олькой и даже испуганный посторон-ним вмешательством папа задрали свои головы.

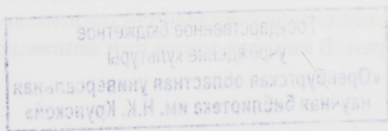
Кто успокоит боженьку, этого небесного плаксу, кото-рый сидит у себя на облачке и страдает, вероятно, от оди-ночества?

Небо шевелилось. Мне было девять лет. О божественном я не знала ничего другого.

...Теперь же дожди сообщали замысел этого мира: вода текла по земле, падала с неба, человек состоял из воды почти весь, как огурец. В сказках мёртвая и живая вода

гарантировали существование герою. Жизнь зародилась в воде, каждый младенец до времени купался в материнском океане. За всем этим стояло что-то всеобъемлющее, без труда сопрягающее явления и судьбы, возвращающее и забирающее. Невидимое, оно обеспечивало учебники фактами, которые ложились в наши головы легко и естественно, будто сама вода, заходящая в русло. Вокруг детского боженьки образовалась обстановка, сообщество существ и предметов. Теперь он напоминал яркий образ с буддийских танка — некто красивый, разноцветный и безучастный собирает вокруг себя всё на свете, хорошее и плохое.

Ещё взрослые дожди торопили осень. Поторапливали всё новое, которое грезились, которое обещало нагрянуть незамедлительно, как только учебный год вступит в свои права. А вот в нежном детстве всё было не так. Хотя я помню, как однажды в грозу, лет в одиннадцать, я заглянула в своё будущее.



Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

**Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.**

**Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49**